

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР

После «своих войн» юрист Слуцкий и инженер Самойлов (называя по старшинству возраста и воинского звания) снова встретились. И продолжилась их дружба-сопрочничество. Причем починали Самойлов находился под сильнейшим влиянием Слуцкого, которого тогда в веселом (понапалу) послевоенном кругу московской интеллигентии уже считали поэтом, а Самойлова еще нет. Слуцкий читал, Самойлов слушал. А когда начал освобождаться от «слуцких» влияний, произошла ссора. Омрачившая отношения, но не помешавшая пожизненной дружбе. Возможно, прежде всего потому, что оба продолжали честно служить русской литературе. И каждый друг про друга это понимал.

Любивший субординацию Слуцкий как-то спросил Самойлова (и в этом весь Слуцкий):

— Дэзик, как ты думаешь, мы с тобой сейчас в первой десятке лучших поэтов или только в первой двадцатке?

Самойлов (и в этом весь Самойлов) ответил:

— Знаешь, Боба, по-моему, только в первой двадцатке, но что-то предыдущих восемнадцати не видно...

В нашей литературе, начиная с 60-х и по сию пору, не было и нет, к сожалению, ни восемнадцати, ни даже еще хотя бы двоих столь благородных и нэгоценитических людей (при этом — Потлов), как Слуцкий и Самойлов.

И оба они всерьез заботились о том, что будет после них. Слуцкий с молодыми поэтами возился, как лялька с барчуками. Поскольку читал буквально все, мог позвонить любому начинающему по поводу его публикации в областной газете. А когда молодой поэт звонил ему, первое, о чем спрашивал Слуцкий, было: «Вам нужны деньги?» — сам хорошо знал, что такое бедность.

Самойлов не оставлял без ответа ни одного письма (последние годы он жил в Пирну), без приватной или публиковавшейся рецензии — ни одной присланной ему книги. И умел обзаводиться молодыми друзьями, когда ему было уже далеко за шестьдесят.

Мне повезло. Я испытал на себе немногословную, но деятельную заботу Слуцкого и близкую дружбу Самойлова. Благодаря Слуцкому я легко и без унижений (что в середине 70-х было просто невероятно) «вшел в литературу». А в московской квартире Самойлова я прожил те два года, когда мне в Москве было

на

ние видеть кого-либо, кроме родственников, — и вот незадолго до смерти он захотел встретиться только с одним «неродным» человеком — с Дэзиком.

Кто тогда мог знать, что ровно через четыре года — 23 февраля 1990-го — не станет Самойлова?

Смерти настоящих поэтов никогда не бывают случайными. Слуцкий и Самойлов умерли не только в один день, но и — оба! — на переломе эпохи: в России они замелькали с калейдоскопической быстротой. Это значит, что в наступившие времена нам надо научиться обходиться собственными силами. Всё уроки, которые должны были, они нам преподали. Вопрос в том, усвоили мы что-то или нет.

● Олег ХЛЕБНИКОВ



Фото Г. Елин

Борис Слуцкий

Ценности сорок первого года: я не желаю, чтобы льгота, я не хочу, чтобы броня распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года: я не хочу козырять ей. Я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года: дело не сделается само. Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня: ценяйтесь, переоценяйтесь, реформируйтесь, деформируйте, пародируйте, деградируйте, но без меня, без меня, без меня.

Вечер ведет Олег ХЛЕБНИКОВ

Если уж нынче 23 февраля называется Днем защитника Отечества, я точно знаю, чей это праздник...

Один из них родился в Харькове, другой — годом позже — в Москве. Оба писали стихи. Но один пошел на юридический (приехал в Москву), другой — в знаменитый Институт философии, истории и литературы (ИФЛИ). Тогда Москва была еще меньше — они встретились и подружились. Потом началась война, и оба пошли добровольцами на фронт. Юрист недолгое время служил даже в военном трибунале.

Потом он об этом напишет:

Я судя людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно,
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно...

Кто они, мои четыре пуда мяса, чтобы судить чужое мясо?

Был и политруком.

На фронте получил тяжелейшую контузию.
До конца жизни мучился от жестоких головных
болей и бессонницы. В том числе благодаря
ей написал очень много стихов.

Ифлиец служил в полковой разведке. От смерти,
скорее всего, его спасло ранение. Об этой войне
он напишет хрестоматийные стихи
«Сороковые, роковые...» — с такими
бот строчками:

А это я на полустанке.
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки...
Не правда ли, они прошли какие-то две
совсем разные войны?

Война
на
двоих

Февраль 1986 года. Самойлов над гробом Слуцкого в морге 1-й Градской больницы. В Доме литераторов панихида запретили (так же было, когда умерла Ахматова).

Фото С. Кузнецова



Давид САМОЙЛОВ

И жизнь и смерть
бессмысленны тогда!

1968

Публикуется впервые

* * *
Не бойтесь!
Умираем только мы!
Пора уж узел затянуть
на глотке,
Принять снотворного,
опиться водки.
Нет сила для виселицы
и тюрьмы.
Наш тонкий слух,
наш изощренный глаз
И гибкое, испытанное
слово
Ничто пред слухом
вашего глухого
И перед словом каждого
из вас.
Но если вы обманете —
беда!
Какое будет всем
самопрощенье...
Вся сволота потребует
отмщения...
Мне выпало счастье быть
русским поэтом.
Мне выпала честь
прикасаться к победам.
Мне выпало горе родиться
в двадцатом.
В проклятом году
и в столетье проклятом.
Мне выпало все.
И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры,
в походе великом.
Как валенок мерзлый,
валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего
не имели.

Дэзик и Борис Абрамович

Им было трудно друг без друга. А нам — без них

«Широко известен в узких кругах, как модерн, старомоден, крепко держит в слабых руках тайны всех своих тягомитин... Смотрит на меня. Жалеет меня. Ульбочка на губах корчится. И прикуривать даже не хочется от его негреющего огня». Страшно обиделся я на Слуцкого, прочитав его злые строки в легендарных «Тарусских страницах» (1961): уверенно подумалось, что они про моего друга Наума Коржавина, он же Эмка Мандель. Как же, мол, так? Сам же Борис Абрамович ввел единицу измерения поэтической ценности: один мандель, равняющийся ста кобзям. Кто забыл: существовал такой стихотворец Кобзев.

Но, когда я приступил к нему за разъяснениями, он ответил кратко: нет, это не про Эмку. А позже я сам допер, от чьего огня не хотелось прикуривать некурящему Слуцкому, и Самойлов, спрощенный на свой счет, подтвердил благородно: конечно, это он обо мне.

Странно... Хотя не странней самих их отношений. Из воспоминаний Самойлова, как он спросил друга-сопрочника: «Не надоело тебе ломать строку о колено?», и тот парировал: «А тебе не надоело спотыкаться на гладком месте?» Пуще того: «Мы друг другу не нравились, но крепко любили друг друга».

Друг друга. Нравиться же было бы мудрено: для этаких антиподов подобное вроде полового извращения. Сердце, выпивоха Дэзик, которому до старости, до кончины удивительно шло домашнее детское имя, и будто подчеркнуто целомудренный, в общем нельзяющий Борис Абрамович (для меня — только так, по имени-отчеству). Легкая, словно бы легкомысленная повадка первого — и малиновая кровь само-

любия, то и дело заливавшая лицо второго; иногда — подделом.

Даже то, что оба, Дэзик и Борис Абрамович, долгое время не допускались в печать, имело причины противоположные. «Широко известная в узких кругах» былая формула Слуцкого: «Я пишу для умных секретарей обкомов», эта причудливая модификация наследия просветителей нашего XVIII столетия (как известно, намеревавшихся перекачать свой замечательный разум в Екатерину Вторую), эта формула, и два века назад оказавшаяся утопией, в советской действительности уж совсем сокрушительно разбивалась о твердые лбы тех, кто умнее не хотел. Что ж до Самойлова, пушкинианца «из поздней пушкинской плеяды», то его по-разительно раиняя трезвость, которая, между прочим, и ссорила их со Слуцким, политиком-тактиком, — эта-то, говорю, трезвость и стала основой его легкости. Чей синоним — внутренняя свобода, включающая в себя неучастие в том, в чем поэту участвовать не годится.

Недаром в самойловском шедевре «Пестель, поэт и Анна» Пушкину так тесно в революционной прагматике умницы декабриста, и он, поддерживая беседу, душой совсем не в ней. Душой да и чувственным телом: «Он вновь услышал — распевает Анна. И задохнулся: «Анна! Боже мой!» Это, замечу, при том, что много и сложно размышлявший Самойлов по убеждению был истинный государственник (опять же как автор «Полтавы» и «Стансов»!) и, даже пошутив в поэме «Струвиан» над почвенничеством Солженицына, нездолго до смерти в письме к Л. К. Чуковской признался, что «прежде недооценивал конструктивные стороны плана Александра Исаевича».

Если сыскать пушкинского антиплода в истории русской поэзии, то это, скорее всего, Некрасов, чья надрывно-сострадательная музя вспомнилась Эренбургу, когда он в статье 1956 года выводил на орбиту мало кому известного Слуцкого. Как все удачное в этом роде, аналогия оказалась шире и глубже простого сопоставления — ее раздвинула и углубила судьба Бориса Абрамовича.

Мало того, что в точности как гениальный лирик Некрасов деформировал свой дар прагматикой с ее близко лежащими целями, так и пронзительной нежностью Слуцкого, его «Лошадей в океане» или «Немецких потерпевших», пришлось пребывать сквозь самолюбивую жажду прикосненности к внешней мощи державы («Я раздал земли графские крестьянам южной Венгрии... Я был внутри энергии, ее частицы был»). Мало того. Некрасовская трагедия единожды оступившегося человека, всю жизнь не могущего простить себе оды «вешателю Муравьеву», настигла и Слуцкого, расплатившегося за участие в пастернаковской трагедии тяжкой душевной болезнью. Хотя он, подобно Некрасову, мог сказать (однако из гордости не сказал): «Зачем меня на части рвete, клеймите именем раба?.. Я от костей твоих и плоти, остервенела толпа!»

Теперь они рядом, не знаю, как на небе, но в русской поэзии — точно: и мучительно умиравший Слуцкий, и Дэзик, внезапно, почти символически умерший на вечере Пастернака. Два больших русских поэта. Но спор — о стратегии, тактике, о зависимости и свободе — продолжается, пока длится литература.

● Станислав РАССАДИН